

АЛЕКСАНДР ЩИПКОВ

# БРОНЗОВЫЙ ВЕК РОССИИ



Взгляд из Тарусы

Александр Щипков

**Бронзовый век России.  
Взгляд из Тарусы**

«Автор»

2015

УДК 348.71  
ББК 66.3 (2Рос)

**Щипков А. В.**

Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы / А. В. Щипков —  
«Автор», 2015

Книга «Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы» посвящена трудному процессу преодоления социального кризиса. Картина культурного и политического ландшафта страны дана как взгляд из маленького русского города Тарусы, в котором живет автор, и где сплелись воедино судьбы военных, ученых, писателей, диссидентов. Идеино-смысловая ось книги – исследование такого уникального явления русской культуры как Бронзовый век, феномен которого выходит далеко за рамки литературы, наполняясь историческим и социальным содержанием. Каждая глава этой искренней книги открывает читателю малоизвестные, но от того не менее значительные явления русской жизни. Читатель узнает, сколько в России верующих и почему всегда, во все времена их насчитывается 85 %, в чем состояли ошибки постсоветской интеллигенции, каковы истоки современного нацизма и почему происходит синтез левой и консервативной идей. Это сборник текстов о русской культуре, религии и политике. Все они, за исключением вводного, написаны в форме интервью, что облегчает восприятие подчас сложных идей и делает их доступными самому широкому кругу читателей. Книга издана по инициативе и при поддержке Всемирного русского народного собора.

УДК 348.71  
ББК 66.3 (2Рос)

© Щишков А. В., 2015

© Автор, 2015

# Содержание

От издателя	7
Бронзовый век и аксиомодерн	8
О памяти	19
Мама	19
Пришедший из девяностых	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

**Александр Щипков**  
**Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы**

© Щипков А. В. 2015

\* \* \*

## От издателя

Книга известного российского общественного деятеля, политолога и публициста Александра Щипкова «Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы» посвящена трудному процессу преодоления социального кризиса, в котором наша страна находится уже более четверти века. По жанру это сборник концептуальных текстов о русской культуре, религии и политике. Однако все они, за исключением вводного, написаны в форме интервью, что облегчает восприятие подчас сложных идей и делает их доступными самому широкому кругу читателей.

Картина культурного и политического ландшафта страны дана как взгляд из маленького русского города Тарусы, где живет автор и где сплелись воедино судьбы многих известных людей: военных, учёных, писателей, диссидентов. Географическая дистанция необходима: ведь большое видится на расстоянии.

Идейно-смысловая ось книги – исследование такого уникального явления, как русский Бронзовый век. В силу ряда политических обстоятельств наступление этого периода было задержано или, как выражается автор, «подморожено». Изучение эпохи, современниками которой нам выпало быть, Александр Щипков начинает с литературной ситуации 1970–1980-х. Провозвестниками нового века становятся ленинградский поэт Олег Охупкин и московский архивариус русской поэзии Слава Лён.

По мере чтения глав этой книги становится ясно, что феномен выходит далеко за рамки поэзии и литературы вообще. Бронзовый век, определяемый как состояние субрелигиозности, проявляется также в сфере общественных нравов, политических споров и влияет на пробуждение исторической памяти. Одно из свидетельств этому – появление в подмосковной Тарусе памятника генералу Михаилу Ефремову, «не предавшему Родину и солдат», прямому антиподу печально известного генерала Власова. Следующий шаг на этом пути – памятник Николаю Заболоцкому, поэту, фактически открывшему в России «бронзовую» эпоху, согретую теплом веры и причастности.

Каждая глава этой искренней книги открывает читателю малоизвестные, но от того не менее значительные явления русской жизни. Показательна история о борьбе петербургской общественности за право поставить храм на месте блокадного крематория: военная святыня и святыня религиозная как единое целое – важнейшая черта Бронзового века. Читатель узнает, сколько в России верующих, почему всегда, во все времена их насчитывается 85 %, в чём состояли ошибки постсоветской интеллигенции, каковы истоки современного нацизма и почему происходит синтез левой и консервативной идей. А. Щипков вводит новое понятие *аксиомодерн*, смысл которого вы поймете, прочитав эту книгу.

## **Бронзовый век и аксиомодерн (вместо предисловия)**

В почти уже легендарные «девяностые» на фоне сворачивания долгосрочных культурных проектов расцвел «клуб стайл». Проводились трогательные уютные поэтические фестивали и маленькие конференции, на которых обсуждали Бродского («ах, ещё не так давно он был только в самиздате») и Серебряный век («ах, он был совершенно недооценён»). Историческую несправедливость спешили исправить – и доценить.

Серебряный век, несмотря на свою декадентскую «тональность», воспринимался как эталон и своеобразная матрица грядущего ренессанса. Подтекст был такой: культурное поле выжжено тоталитаризмом, поэтому надо мысленно вернуться к последним «тучным» для культуры годам, а это начало века. И тогда возможен новый расцвет. На том и стояли.

Между тем литературный процесс в постсоветской «новой» России становился делом всё менее престижным и востребованным. Новые литературные премии вроде «Русского Букера» становились междусобойчиком и полем клановых разборок внутри «тусовки» – в те годы само слово «тусовка» считалось едва ли не атрибутом респектабельности. Писательское сословие обречено было работать для всё более узкого круга, и гуманитарное сообщество по сути оказывалось в культурном гетто, но предпочитало считать себя элитарным закрытым клубом. Так было психологически проще.

Выстраивалась потребная моменту мифология, влиявшая в том числе на спектр интересов. Приоритет отдавался явлениям, так или иначе подвергавшимся в советское время замалчиванию, дискриминации.

### *Слава Лён. Исторический контрапункт*

Идею Бронзового века концептуализировал поэт Слава Лён – собиратель, исследователь и архивариус современной русской поэзии. Он появлялся на гуманитарных собраниях, предлагая общественности тщательно выстроенную схему, согласно которой, по его мнению, эта поэзия развивалась. Эту схему он убедительно рисовал на ватмане. Там были обозначены все течения, школы и «школочки» – от хрестоматийных символизма-акмеизма до современных концептуализма и квалитизма.

Из схемы Лёна следовало, что с 1953-го по 1989-й год в России продолжался Бронзовый век – новая эпоха, когда поэзия вновь осваивала утраченные глубинные и универсальные смыслы. Тогда я не мог ещё в полной мере оценить точность и глубину этой концепции; это произошло несколько позже.

После века Серебряного следует особый период, связанный, в частности, с футуризмом. На мой взгляд, футуризм – это переходное состояние: уже не серебро, ещё не бронза. Скорее, некое выгорание плавильной печи. Динамическая пауза в смене эпох.

Это промежуточное положение не помешало футуризму и конструктивизму убить эстетику Серебряного века. Кружева декаданса расплозились и сгорели в огне футуристических домен.

Но это была лишь прелюдия.

Сам Бронзовый век берёт начало в 1950-е. Он вызван к жизни многими факторами. Это и естественное ослабление поэтических влияний начала века, и война. «Вставай, страна огромная!»... – тут уж не до искр снега на зубцах акмеизма. И Победа 1945 года, создавшая в сознании людей образ святой коллективной жертвы. И смерть Сталина с окончанием жёстких идеологических «заморозков».

В обычных условиях всё это вполне могло бы закончиться расцветом религиозной лирики – но не в условиях СССР и продолжающихся антирелигиозных гонений. Избирательная хрущёвская «оттепель» распространялась, разумеется, не на всех и не все темы «открывала». Тем не менее поэзия в это время получает заряд новой сакральности и новой искренности; поэты вновь учатся говорить о горних, не сиюминутных вещах, пусть и без явных библейских мотивов.

Сказываться эта сакральность могла по-разному и очень долго – на протяжении 1960–1970-х. Вот простой пример. Однажды в 1970-е легендарный Давид Самойлов резко отчитал молодого поэта Владимира Бурича, едва не отказав ему в праве писать стихи, вот за такие строки:

Мир наполняют  
послевоенные люди  
послевоенные вещи  
нашёл среди писем  
кусок довоенного мыла  
не знал что делать  
мыться  
плакать

Очевидно, Самойлова задела та невыносимая легкость, с которой Бурич своим вальжным верлибром касался военной темы. Она была как выстрел.

Откуда здесь ощущение кощунства? Дело в том, что тема войны для человека «бронзового» периода имеет особый смысл. Эта тема сопоставима с мотивом распятия, хотя сопоставление и не могло быть прямо высказано. Но на глубинном уровне считывалось. Человек с историческим гражданством века Серебряного – а такие оставались до конца советского периода – отнёсся бы к этому тексту гораздо спокойнее. Взвесил бы на весах эстетического чувства и оставил в покое. В этом – разница.

### *Олег Охалкин. Новая сакральность*

Концепция «бронзовой» эпохи была составлена упомянутым Славой Лёном на основании источников, пребывающих в самом литературном пространстве. Бронзовый век – во многом поэтическое самоназвание. Сегодня его хронология выстраивается автоматически – бери и пользуйся. Как, например, у Ирины Сидоренко:

И век золотой пьянит –  
Там болдинская осень,  
Сусальный шелест битв  
На нерчинском погосте...

Век звона серебра:  
Вино и опий – в строчки!  
В смерть крестит снег! –  
«Ура» – людские многоточья...

И – бронзовый! – как месть  
За миллион насилий.  
Вернём красу и честь?

### И мозг спинной – без гнили?

Это нынешние перепевы, уже ставшие привычными. А начиналась коллективная ода Бронзовому веку в 1975 году с поэмы моего друга, великолепного Олега Охапкина, которая так и называлась – «Бронзовый век»:

Он исторгнул из Храма лишних.  
Торговавших талантом, чтобы  
Воцарился в сердцах Всевышний,  
А в торгующих – дух утробы.  
И пошли по домам поэты.  
Те, кто Бога встречали – с миром,  
А купцы разбрелись по свету  
Золотому служить кумиру.  
Разбрелися по всем дорогам.  
Приступили ко всем порогам,  
И на бронзовосерых лицах  
Тихо бронзовый век горел.

У Охапкина речь идёт о поэтах, которых коснулся Христос, – они вновь почувствовали Божье дыхание. Вернули жизни религиозную составляющую, которая была утрачена в декадансе, отвергнута в футуризме и тщательно замаскирована в советской литературе. Хотя после войны это чувство всколыхнулось. В охапкинском «Бронзовом веке» есть даже список имён его собратьев по цеху, отливших свои стихи в «бронзу»:

Красовицкий, Ерёмин, Уфлянд,  
Глеб Горбовский, Соснора, Кушнер...  
Макинтошами, помню, услан  
Путь Господень в живые души.  
Рейн да Найман, Иосиф Бродский,  
Дмитрий Бобышев да Охапкин  
Наломали пред Ним березки,  
Постилали цветов охапки.  
Ожиганов, Кривулин... Впрочем,  
Дальше столько пришло народу.  
Что едва ли строфу упрочим,  
Если всех перечислим сряду.

Куприянов Борис да Виктор  
Ширали... Стратановский, кто же  
Не вспомнит о них! Без них-то  
Было б грустно. Скажи, Сережа...  
Чейгин, Эрль... может. Лён иль кто-то  
Из других: Величанский, либо  
Кто ещё, но открыл ворота  
Всей процессии. Всем спасибо.  
И когда Он вошёл в сердца нам.  
Мы толпою пред Ним стояли.  
Но дружиною стали, кланом.

Чуть бичи Его засвистали.

Легко заметить, что в этих «святцах» нет «официальной фронды», нет ни одного поэта Политеха. И это закономерно. Взять хотя бы Андрея Вознесенского. Невероятно талантлив. Но в какую сторону он идёт? Играет в футуризм, издаёт «Треугольную грушу». Потому что Маяковский – это символ, и подражание ему давало карт-бланш на эксперимент в известных рамках. Но по сути это был шаг назад, а не вперёд.

А у Олега Охупкина перечислены те, кто был готов всерьёз свидетельствовать о мире перед Богом. И тем не менее всех перечислять – не хватит стиха. Но главные современники века уже названы, и будущие составители хрестоматии избавлены от необходимости лишней раз лезть в справочники.

Охупкин чётко и уверенно проводит границу, отделяющую его «бронзовую» эпоху от прошлой, «серебряной». Но делает он это не в основном тексте, а за его пределами, в эпиграфе, создавая таким образом поэтическую «рамку». Для эпиграфа взяты строчки из «Поэмы без героя» Анны Ахматовой, бесспорной королевы века предшествующего:

На Галерной чернела арка.  
В Летнем тонко пела флюгарка,  
И серебряный месяц ярко  
Над серебряным веком стыл.

Это как запись на полях. В поэме «Бронзовый век» Охупкин тоже обыгрывает тему арки («На Галерной *пылала* арка») – сквозная связь времён? Получается: связь – через отталкивание.

### ***Борьба за признание***

Собственно именно Олег Охупкин и создал понятие Бронзового века, почувствовал его и дал ему название. Разумеется, всего этого недостаточно. Чтобы определить рамки явления профессионально, а не поэтически, нужен был кто-то, кто сумеет выйти за пределы поэтического цеха. Этим человеком и стал Слава Лён. Практически он оказал потомкам ту же услугу, которую когда-то оказал им и Николай Оцуп, застолбивший название соседней эпохи в своей статье «Серебряный век русской поэзии», впервые напечатанной в 1933 году в парижском журнале «Числа».

А вот масштабная поэтическая антология «Бронзовый век русской поэзии», составленная Лёном, увидела свет лишь в 2013 году (Бронзовый век русской поэзии. – Спб.: ВВМ, 2013). Причём судьба всей той масштабной работы с наследием Бронзового века, которую много лет подряд осуществлял автор, оказалась непростой. Это сейчас лёновская концепция – свершившийся научный факт. А в 1990-е просветительская деятельность Славы Лёна вызывала разные реакции в среде постперестроечных гуманитариев. Так, на одном из литературных диспутов один филолог саркастически возразил Лёну, предлагая поменять на его схеме временную шкалу на «степени возрастания градуса». Возражение, может быть, и остроумное, но явно не по существу... Приходилось в разное время встречать и другие возражения. Например, что, мол, понятие «Бронзовый век» утверждает идею ухудшения и деградации: вслед за Бронзовым и Железным должны идти «плохонькие» века без имени.

В этих рассуждениях проявляется культур-шовинизм новейшей культурной бюрократии. Во-первых, отказывая Бронзовому веку в праве так называться по причине якобы нисходящей оценочности, за веком Серебряным то же самое право охотно оставляли. Хотя «серебро» символически тоже менее ценно, чем золото. И логика подсказывает: возражение против «бронзы»

рикошетом бьёт и по серебру. Вывод прост: надо или вовсе избавляться от шкалы нисходящих оценок и упразднить названия всех эпох или, сохраняя её, наделить Бронзовый век общими правами. Но этого не происходит. Что можно «серебру», того нельзя «бронзе». «Серебряный запас» русской литературы якобы должен считаться неиссякаемым.

Однако Бронзовый век вовсе не обязан считаться менее «ценным», чем его исторический предтеча. Скорее наоборот. Серебро – холодный металл. Бронза – тёплый. Она как бы хранит в себе частицу золота. Стремится на свой лад изобразить свойственную «золотому» периоду полноту и теплоту бытия. То есть наследует классическим ценностям Золотого века, хотя и через поколение. У Серебра – иная задача: совершенство, симметрия, отточенность языка. Игра форм и смыслов, из которых надо сложить слово «Вечность». Но не более.

Люди с системным мышлением проявляли интерес к концепции Лёна, но статусным гуманитариям она совершенно не нравилась. Хотя бы потому, что у них уже были свои обобщающие схемы и делиться почётной ролью создателей дефиниций никому не хотелось. Лёновский же подход явно диссонировал с тем, что уже было принято и возведено в канон.

Согласно этому канону история русской поэзии, да и культуры в целом рассматривалась как бы сквозь призму Серебряного века. И этому веку было предписано длиться и никогда не заканчиваться – продолжаться вечно, пусть даже в форме осознанного и неосознанного подражания, что, в общем-то, опиралось на некоторые объективные факты литературной реальности. Ведь никто не возьмётся отрицать следы сильного влияния Цветаевой в стихах Беллы Ахмадулиной или следование за Маяковским Андрея Вознесенского. Другое дело, что эта «затухающая серебряная» линия в литературе была, мягко говоря, не единственной. Но никакая другая кураторам культурного процесса была просто не нужна. Музейное отношение к культуре побеждало. Серебряный век должен был длиться покуда стоит мир.

А остальные должны ждать, когда кончится этот затянувшийся декадентский век.

### ***Партийная организация и партийная литература***

Наверное, излишне говорить о том, что вожди новой генерации начальников-гуманитариев в точности воспроизвели советскую модель отношения к культуре, ориентированную на отсев всего идеологически чуждого. Всё «выдержанное» и пригодное к употреблению берётся в расчёт, остальное игнорируется. Новые люди в гуманитарной сфере активно боролись за влияние с бывшими советскими институциями, но продолжали мыслить и действовать в рамках прежней парадигмы. Просто эта парадигма была ими присвоена или, если угодно, приватизирована, словом – перевёрнута и переделана под себя.

В связи с этим цензурно-идеологическим перевёртышем необходимо сказать несколько слов о так называемой «советской литературе». На самом деле, по моему глубокому убеждению, такой литературы не существовало. Была и есть русская литература советского периода. «Советская литература» – миф, который вначале был выгоден советской власти, а затем и её противникам. Он помогал отделять удобных от неудобных, агнцев от козлиц.

Понятие «поэт Серебряного века» со временем стало играть точно такую же роль: из термина оно превратилось в знак качества. Точнее, доброкачественности. Стало синонимом «поэта первого сорта». При этом Твардовский, Самойлов, Слуцкий или Багрицкий считались поэтами классом ниже. Ещё сложнее было с поэтами андеграунда, сформировавшимися в советскую эпоху. При таком подходе очевидно, что Бронзовый век был не нужен и неинтересен литературным начальникам как в советский, так и в постсоветский периоды.

В советскую эпоху это утверждалось административно-приказным порядком. В 1990-е по-другому – средствами медийного влияния, поскольку уже вступил в силу принцип: если тебя нет в информационном поле, тебя нет вообще. Так или иначе аллергия на «несистемные» культурные явления оставалась формой идеологии и в «новой» России.

Поначалу я думал, что «ответственным» людям просто очень не хочется возиться с новой грудой литературных фактов. Позднее понял, что причины гораздо более глубокие. Инстинктивное неприятие любых разговоров на тему Бронзового века – не проявление академического обскурантизма. Дело в том, что эта постановка вопроса ломает готовый сценарий культурных исследований. В рамках этого сценария Серебряный век – что-то вроде «осевого времени» или «точки отсчёта». Матрица Серебряного века – не в обиду его почитателям будет сказано – превратилась в новый идеологический стандарт для просвещённой публики.

Навязывалась эта матрица с помощью элементарной подмены. Серебряный век – безусловно, интереснейший и богатый на художественные открытия период русской культуры – использовался в совершенно не свойственной ему функции – как идеологическая рамка. Для этого требовалось максимально передвинуть вперёд по исторической шкале его верхнюю границу, неявно вписывая в этот отрезок то, что просто не могло к нему относиться, иную культурную реальность.

Протесты не принимались. Они отклонялись с помощью эмоциональной аргументации: «Ну что вы, как можно! Начало века – это наше всё. А через несколько лет, вообразите: большевистская смута, крах, тёмные века варварства». Трагическая коллизия «цветение Серебряного века против большевистского варварства» перекидывалась из начала века в наше время.

Иными словами, модель разделённого исторического времени, модель «разрыва традиции» использовалась уже второй раз. Вначале она была востребована советским официозом. Затем, уже с противоположного конца – либеральным «антисоветским» официозом, вышедшим всё из той же советской шинели.

### *Задержанная эпоха. Новые заморозки*

Понять происходящее до конца в то время мало кому посчастливилось. Только теперь становится понятно, что адепты «исторического декаданса» подморозили движение культуры.

В России существует экзотическая историософская традиция, описывающая линию национального развития как смену «заморозков» и «оттепелей». С этих позиций при желании можно объяснить всё, что угодно. Так, Серебряный век происходил в ситуации относительных «заморозков» (1905–1916). Но период конца 1990-х на фоне «оттепели» 1980-х означал «заморозки», в том числе и для самой культуры, которая просто была полностью маргинализована. А шоковая терапия с разгромом индустрии, стрельбой из танков в 1993-м, печально известным «письмом 42-х», по концентрации ненависти не уступавшим коллективным призывам сталинского времени, – всё это позволяет говорить не об оттепели, а о новых масштабных заморозках, которые не кончились и сейчас.

Иллюзия оттепели обернулась ледниковым периодом. Но если те, старорежимные заморозки культуре как бы не мешали, а фигура в кармане даже развивала способность к метафоризации, то нынешние холода привели к вымерзанию эстетических ростков до самых корней. Произошла заморозка тех точек роста, которые должны были дать всходы в «девяностые» – «нулевые». Но не дали. Это и есть наш задержанный Бронзовый век.

Ведь как рассуждали на излёте перестройки? Вот сейчас сдёрнут с науки удавку марксизма-ленинизма – и она расцветёт. Гуманитарии будут свободно просвещать нацию, проводить высокую культурную политику... Удавку сняли, а утро не наступило. Вернее, наоборот. Если в СССР гуманитариев контролировали идеологически – в 1990-е их просто вышвырнули за пределы «нового дивного мира», сделав их лишними людьми. Музыкантам столичных оркестров пришлось стать бомбилами и челноками... Имена Лотмана, Лихачёва и иных потускнели в сознании интеллигентного обывателя. Потому что когда отечественную культуру пускали под нож, они за неё не вступились. Так в России свершилось то, что на Западе принято называть предательством интеллектуалов.

То же и в поэзии. В 1990-е годы её развитие приостановилось, словно было искусственно задержано. После Кривулина, Охупкина, Бродского... Бронзовый век не породил сопоставимых по масштабу фигур. Он длился, но редко плодоносил. Произошло это, судя по всему, по причине «заморозки» 1990-х, благодаря которой развитие Бронзового века было искусственно задержано, а престиж высокой культуры в обществе в целом искусственно занижен.

И эта ситуация в целом сохраняется до сих пор.

Легко объяснить моду на верлибр, распространившуюся в 1990-е – 2000-е. Только работая над верлибрами, можно было попасть в поле зрения западных славистов. И это были не те верлибры, которые сочинялись во время оно французскими символистами. Здесь главная задача – заменить поэтическую речь фрагментами бытовой, профанной речи. При этом максимально расширив, а значит, отменив границы эстетического. Так при абсолютных монархиях в XVI веке были утеряны границы исторического. В историю «записывалось» всё: с какой ноги встал монарх, какого цвета туфли он надел и что ел на обед. «Это достойно истории!» – восклицали придворные хронисты. Всё было достойно истории. Но всё значит ничего. Так история государства превращалась в нечто вроде Марлезонского балета на тему королевской охоты на дроздов...

Или вот молодёжная субкультура 1990-х. Это ведь тоже декаданс, только сильно приземлённый. Молодёжная субкультура была потребительской, завязанной на клубной индустрии с танцевально-наркотическим репертуаром. А рядом – приезжие западные звёзды, вышедшие в тираж на родине, но с удовольствием играющие для «этих русских». Всё вроде бы движется – и всё стоит на месте.

### ***Жертва. Возвращение в историю***

Что Бронзовый век – не только литературное, но и социально-историческое понятие, мне стало ясно несколько позже.

Тут сыграла свою роль драматичная история, связанная с Парком Победы в Петербурге. В Парке Победы горожане хотели возвести храм на месте, где стоял Блокадный крематорий. В течение 15 лет им мешала городская власть. Вот это сочетание, этот грандиозный резонанс – память о жертвах и мучениках войны и память о жертве Нового Завета – впервые осветило для меня всю суть Бронзового века как новой эпохи. Это было возвращение к моральным глубинам русской традиции, где всякая жертва – напоминание о Его жертве. Так зарастал исторический разрыв между традицией советской и дореволюционной, собирались воедино разные части народного тела. Это было возвращение к глубинным смыслам. «Так вот что такое Бронзовый век», – подумал я тогда.

Не стану подробно рассказывать о том, как горожане ставили крест на месте будущего храма, как этот крест сжигали и выкорчёвывали торговцы шаурмой – новые хозяева жизни, с которыми в то время прекрасно уживались новейшие поклонники русского декаданса. Но храм построили. Добились. Для меня это одна из важнейших вех нашего Бронзового века. Особенно актуальна эта связь сейчас, когда фашизм реабилитирован и легализован на международном уровне.

А тогда я вновь ощутил радость Победы над фашизмом как отголосок другой Победы – Сына Человеческого над смертью. Этот синтез – пропуск для нашего возвращения в Историю. Начинается возвращение с нравственного консенсуса в обществе, и важнейший предмет консенсуса – собственная история.

## *Взгляд из Тарусы*

Впоследствии я увидел, насколько труден этот консенсус – на примере жизни малых русских городов, прежде всего – родной для меня Тарусы. И здесь я тоже наблюдал и наблюдаю признаки задержанной эпохи, которая давно должна была наступить, но пока не наступает. Ещё Паустовский поднял тему спасения малых городов. А распутинское «Прощание с Матёрой» как будто оттенило эту тему.

Моя любимая крошечная Таруса. Макет Большой России. Здесь жили и оставили свой след Поленов, Борисов-Мусатов, Ватагин, Цветаев, Паустовский, Заболоцкий, Рихтер... Я видел, как плакал мужчина возле памятника генералу Ефремову, положив руку на бронзовую надпись «Не предавшему Родину и солдат». А сколько ещё сыновей Таруса отдала Великой Отечественной, Афгану, Чернобылю...

Концепция развития Тарусы менялась, отражая как в капле воды бурление всей России. На сломе 1991-го бродила идея сделать основным трендом диссидентскую тему 101-го километра. Поэтесса Татьяна Мельникова назвала Тарусу «диссидентской столицей», и действительно – «политические» в разные годы проживали здесь десятками, если не сотнями: статусные Александр Гинзбург, Лариса Богораз и менее известные, такие как моя любимица, женщина отчаянного характера Валентина Ефимовна Машкова. По улицам Тарусы бродили Солженицын и Амальрик, Марченко и Осипов, Ковалёв и Балахонов, Горбаневская и Крахмальникова... И тут надо бы сказать, что советское диссидентство, как бы резко это ни звучало – это тоже богема, с культурной богемой тесно связанная. С одной стороны, Сахаров и Синявский. С другой – Аверинцев и Глазунов. Свой кодекс, своя диссидентская этика, «династические» диссидентские браки. Но это тема для отдельного разговора.

Музейно-диссидентская концепция не прижилась. Её вытеснила тема «русского Барбизона». И культурное строительство ожидаемо пошло под флёром Серебряного века. Так было в Большой России, так было и в нашем маленьком городке на берегу величавой Оки, несущей свои воды во Времени от Золотого века к Серебряному и дальше к Бронзовому.

### *Заболоцкий. Ключи от Бронзового века*

Николай Заболоцкий – пожалуй, самая загадочная знаменитость советского периода русской литературы. Автор знаменитых «Столбцов», вначале обэриут, затем традиционалист, Заболоцкий провёл в Тарусе последние два года своей жизни. Лишь сегодня мы начинаем осознавать, что это не просто прекрасный русский поэт, но и открыватель целой эпохи. Именно он стал связующим звеном довоенной и послевоенной лирики и родоначальником поэтического взрыва 1960–1970-х, открыв нам ворота в Бронзовый век. Он сам переплавился – если использовать «металлическую» метафору – в лагерный период. Его стихи стали совершенно другими. И это говорит о его огромном таланте.

Вот он, как и положено поэту «бронзовому», перебрасывает мостик к Золотому веку. В данном случае в стихотворении «Одинокий дуб» – к знаменитому пушкинскому «Анчару».

Дурная почва: слишком узловат  
И этот дуб, и нет великолепья  
В его ветвях. Какие-то отрепья  
Торчат на нём и глухо шелестят.

Но скрученные намертво суставы  
Он так развил, что, кажется, ударь –

И запоёт он колоколом славы,  
И из ствола закапает янтарь.

Вглядись в него: он важен и спокоен  
Среди своих безжизненных равнин.  
Кто говорит, что в поле он не воин?  
Он воин в поле, даже и один.

Всё верно. Религиозный порыв, стремление к свидетельству о мире передаётся от Золотого к Бронзовому веку. Через поколение. Поверх Серебряного – холодного и безучастного. И Заболоцкий даже как будто спорит с Пушкиным: вместо древа смерти рисует древо жизни.

В конце концов Заболоцкий приходит к субрелигиозности в творчестве. В его стихах становится ощутимой подвластность мира высшему закону. Вместе с тем он не отрывается от породившей его народной почвы. Вот он пишет стихи о «Голубиной книге», вспоминая рассказ о «правде и кривде». То есть – о справедливости. Ведь справедливость – это основа, нравственный центр русской традиции.

И слышу я знакомое сказанье,  
Как правда кривду вызвала на бой,  
Как одолела кривда, и крестьяне  
С тех пор живут обижены судьбой.  
Лишь далеко на океане-море,  
На белом камне, посредине вод,  
Сияет книга в золотом уборе,  
Лучами упираясь в небосвод.  
Но семь на ней повешено печатей,  
И семь зверей ту книгу стерегут,  
И велено до той поры молчать ей,  
Пока печати в бездну не спадут.

Поэт вглядывается в души людей, проступающие на их лицах («О красоте человеческих лиц»):

Есть лица, подобные пышным порталам,  
Где всюду великое чудится в малом.  
Есть лица – подобия жалких лачуг,  
Где варится печень и мокнет сычуг.  
Иные холодные, мёртвые лица  
Закрыты решётками, словно темница.  
Другие – как башни, в которых давно  
Никто не живёт и не смотрит в окно.  
Но малую хижинку знал я когда-то,  
Была неказиста она, небогата,  
Зато из окошка её на меня  
Струилось дыханье весеннего дня.  
Поистине мир и велик и чудесен!  
Есть лица – подобья ликующих песен.  
Из этих, как солнце, сияющих нот  
Составлена песня небесных высот.

Николай Заболоцкий приходит после Серебряного века, но приходит раньше Охупкина и его современников. Именно ему и достались ключи от века Бронзового. Он стал родоначальником новой искренности и новой глубины. Это литургическое чувство, как бы «размешанное» в мире. Испытывая его, поэт поневоле становится миссионером. Ему есть о чём сказать всерьёз – не публике, которая сидит в зале, а поверх голов. Это незаметное пророчество.

Заболоцкий это ощущал. И вместе с этим чувствовал все оттенки русского менталитета, выхолощенного в советскую эпоху. Это и стало одной из причин, по которой поэт был невинно осуждён.

Непонятно, почему стихи Заболоцкого до сих пор не возведены в должный ранг. Ведь другие литературные «жертвы режима» получили в 1990-е свой «респект». Открыватель Бронзового века неудобен тем, кто считает, что XX век обязан соответствовать образу вальжно-декадентской, холодноватой России. Хотя «репетиция» Бронзового века заметна у некоторых долгожителей века Серебряного. В частности, у Бориса Пастернака мы находим особую теплоту причастности. И наоборот: холодность, выхолощенность религиозных образов мы видим у гениальной Цветаевой с её эгоцентричной лирической героиней. Но носители расколотого, сформировавшегося в 1990-е годы сознания упрямо ориентируются на культурную ситуацию начала XX века, на всё то, что выросло из грибницы артистических кабаре и «собраний».

Почему о Серебряном веке у нас говорят гораздо больше, чем о Золотом? Гуманитарная элита делает вид, что и Ахматова, и Пастернак продлевают этот век, и даже очевидно «бронзового» Иосифа Бродского пытаются пристегнуть туда же. Никакого «после» не может быть – только отголоски.

Так формулируется вечная и незыблемая культурная повестка. Так формируется культур-шовинизм, с точки зрения которого ценно лишь то, что сохраняет преемственность от эпохи поэтических салонов или подражает великим.

Стратегия истеблишмента направлена на блокирование культурных явлений, которые по своей природе не интегрируются в авторитарно-симулятивную модель «оптимизированной» культуры. Эта модель прибегает к бесконечной мифологизации, использует в качестве инструментов информационную суггестию и лингвистическую агрессию, а полноценную коммуникацию заменяет пиаром. Так креативный класс, стремясь сохранить гегемонию, цепляется за разваливающиеся идола корпоративного общества.

Люди с этим социальным профилем неизбежно воспроизводят теплохладную «толерантную» модель общества, лишённую подлинных эстетических запросов.

### *Аксиомодерн*

Серебряный век – это не только поэзия. Хрустальность серебра, ломкость, холодность и бездушие закончились революцией. А с конца XX века началось возрождение, ренессанс. Начался Бронзовый век – возврат и оживление.

Но для нас, свидетелей «миллениума», Бронзовый век сильно запоздал. Он начался в творчестве Заболоцкого, Самойлова и других поэтов послевоенной поры, «питерской школы», Олега Охупкина, Иосифа Бродского. Но не успел полностью вступить в свои права, не стал фундаментом русской культуры в конце 1980-х-начале 1990-х. Он был приостановлен новыми политическими «заморозками» и культурной маргинализацией, распадом общественного пространства, предательством и самороспуском интеллигенции, падением престижа гуманитарных профессий.

Внимательные наблюдатели говорят об архаизации культуры, о «новой дикости». Но что такое Бронзовый век как не возможность выскочить из этой inferнальной воронки?

«Бронзовый век нашей поэзии обретёт терминологическую осмысленность, если мы увидим, что современные поэты, сталкиваясь с жестоким фактом десакрализации художественной речи, начнут вспоминать свое древнее жреческое задание и займутся поэзией не как аристократическим дивертисментом золотого века или мелодраматической эксцентрикой века серебряного – а как жертвенной духовной практикой бронзового века, породившего среди прочих Орфея и Ориона», – писал несколько лет назад Андрей Новиков-Ланской в статье «Апология бронзы».

Всё так. Хотя куда предпочтительнее это пожелание смотрелось бы будучи перекодированным в рамках библейского символического ряда.

Сегодня ломается общественный порядок, основанный на жёстком элитаризме. Поэтому у нас есть основания надеяться на «разморозку» культурных процессов, которые прежде подвергались тотальной коммерциализации, экономической, да что там – и политической цензуре.

Примечательно, что именно моя Таруса, устанавливая памятник «ключарю» Бронзового века Николаю Заболоцкому, подтверждает, что мы вступаем в эпоху *аксиомодерна*. Это состояние общества, в котором сочетается ощущение «современности», «нового времени» (известное ещё по периоду модерна), универсализм, единство картины мира и традиционные моральные ценности.

Общество стоит перед необходимостью демонтажа всей культуры постмодерна. Что придёт на смену?

Новую модель культуры называют по-разному: постинформационным обществом, постконцептуализмом, постсекулярностью, новым традиционализмом. Мы её называем *аксиомодерном*.

Так или иначе нас ожидает новая разметка культурного пространства и новые правила игры. Новую парадигму от старой отличает приоритет целостности, жизнь по единым правилам. А это предполагает новый общественный договор. Из книжного понятия философов-просветителей он может превратиться в реальность. Но его целью станут эгалитарные культурные и социальные модели.

## О памяти

### Мама

*27 июля 2012 года*

*Стенограмма эфира радио «Голос России»*

*Беседовала журналист Милена Фаустова<sup>1</sup>*

В июле 2012 года на фасаде здания Смоленского Государственного университета появилась ещё одна мемориальная доска. Она посвящена педагогу Татьяне Николаевне Щипковой, репрессированной за религиозные убеждения в 70–80-е годы XX века. О том, как родилась идея повесить этот памятный знак, какие трудности она встретила и какое общечеловеческое значение имеет сегодня эта памятная доска, рассказывает сын Татьяны Николаевны Щипковой, председатель Клуба православных журналистов, главный редактор портала «Религия и СМИ» Александр Владимирович Щипков.

– Как и когда возникла идея установки мемориальной доски?

– Идея возникла весной 2012 года. Моя жена как-то вечером в разговоре сказала, что было бы хорошо повесить в Смоленске мемориальную доску маме. Мы начали это обсуждать, поначалу просто так, несерьёзно. Это несерьёзное обсуждение длилось около недели и стало серьёзным. Я понял, что мы будем это делать. Мы знали, кто это будет делать. У нас есть знакомый замечательный скульптор – Александр Дмитриевич Казачок, ученик С. Т. Конёнкова. Мы решили обратиться к нему, потому что уже работали с ним раньше. Он нам делал две работы в Тарусе – памятник И. В. Цветаеву и памятник генералу М. Г. Ефремову.

К слову сказать, мы стали действовать совсем неправильно. Ни с кем ничего не согласовывали, не брали никаких разрешений, а начали с изготовления доски. Стали думать, что должно быть изображено на этой доске, будет ли это гранит или металл, профиль или барельеф. А самое главное – что будет написано. Это было самое сложное. В конце концов мы решили написать так: «здесь с 1961 по 1978 год преподавала Татьяна Николаевна Щипкова, пострадавшая за православную веру в годы гонений». Мы хотели выделить два момента. Во-первых, объяснить, почему мы вешаем доску в её честь, чем она выделяется, почему именно этому преподавателю именно этого вуза установлен этот памятный знак, ведь там было и есть множество достойных людей, которые проработали в университете по 40–50 лет. Она была очень хорошим преподавателем и специалистом, но не была Сухомлинским или Макаренко. Мы повесили доску за её верность нравственным принципам. Мы хотели, чтобы прохожие точно понимали, за что она пострадала. Она пострадала за своё вероисповедание и свои религиозные убеждения, за православие. Во-вторых, для нас был важен конец этой надписи – «в годы гонений». Этим мы хотели подчеркнуть, что гонения продолжались до самого конца советской власти. Потому что сегодня очень многие думают, что гонения кончились в 1953 году со смертью Сталина. Более продвинутые говорят о том, что гонения окончились во времена Хрущёва. Мы же хотели показать, что на самом деле религиозные гонения, в том числе на православных, прекратились с окончанием советской власти.

---

<sup>1</sup> Настоящее и все последующие интервью помещены здесь в привязке ко времени первой публикации, но в авторской редакции 2015 года, и порой существенно отличаются от текстов, сделанных моими коллегами, которым я выражаю глубокую благодарность за внимание и сотрудничество, и имена которых непременно указываю (АЩ).

– Как Патриарх Кирилл отнёсся к тому, что Вы собираетесь повесить эту мемориальную доску на стену Смоленского университета, да ещё и с такой надписью?

– Когда мы уже сделали макет доски, я пошёл к Патриарху, встретился с ним, показал ему фотографию нашего макета и сказал, что хочу повесить мемориальную доску. Святейший хорошо знает нашу семью уже много десятилетий, поэтому ему не надо было рассказывать, кем была моя мама. Он внимательно осмотрел эскиз, сказал, что макет хороший. «Но удастся ли вам повесить эту доску, сумеете ли вы получить разрешение?» – спросил Патриарх Кирилл. Я сказал, что буду стараться. «Это будет сложно», – предупредил меня Патриарх. И когда я спросил: «Ваше Святейшество, а если мне всё-таки удастся повесить эту доску?», он ответил, что в этом случае он сам придет её открывать. Я взял благословение продолжать эту работу. Патриарх, во-первых, вселил в меня уверенность. Во-вторых, архиерейское благословение, в том числе Патриаршее, – вещь таинственная. Оно работает, порой, само по себе. Не то чтобы независимо от твоей воли, но как бы параллельно ей, помогая в самый неожиданный и трудный момент. И мы с утроенной энергией взялись за это дело, не имея вообще никакого представления о том, как это делается.

– Насколько вообще сложно устанавливать мемориальные доски или памятные знаки в России? Сколько времени необходимо на это?

– Для того чтобы повесить доску, нужно, оказывается, иметь разрешение горсовета, то есть депутатского корпуса. Нужно, чтобы городские депутаты проголосовали и дали своё разрешение. Но до этого нужно собрать невероятное количество документов, потому что существует целое положение об увековечивании памяти известных и знаменитых людей. Затем необходимо представить все эти документы на рассмотрение топонимической комиссии, которая состоит из уважаемых людей города – преподавателей вузов, учителей, инженеров, чиновников. Всего человек 15–20. Они реально обсуждают, нужно это или не нужно, как это будет выглядеть. После этого собирается комиссия горсовета по социальным вопросам: установка мемориальной доски относится к вопросам культуры, а вопросы культуры – к социальным вопросам. Затем всё это выносится на рассмотрение горсовета. И вынести этот вопрос необходимо не позднее, чем за 30 дней до самого события.

Когда Святейший сказал, что в случае нашего успеха придет открывать «мамину» доску, я понимал, что это будет приурочено к его плановому визиту в Смоленск. Я думал, что это будет через год, через два и у меня впереди ещё много времени. Но он мне сказал, что это будет 24 июня, потому что он едет освящать новую церковь в Катывне, на месте расстрела польских офицеров и огромного количества советских граждан во времена сталинского террора. А наш разговор состоялся примерно 24 марта. То есть оставалось всего три месяца. И я понял, что у меня почти нет времени. Я поехал в Смоленск собирать документы, и дальше начали происходить совершенно необычные и порой таинственные вещи. Во-первых, я столкнулся с тем, что эта задача вообще невыполнима. Из-за огромного числа документов, подписей, из-за политической ситуации в городе. Дело в том, что горсовет Смоленска состоит из политических фракций, и депутаты фракций находятся в жёсткой политической конкуренции. Это нормально, но как убедить депутатский корпус проголосовать «за»? Если я договариваюсь с одной частью депутатов – другие автоматически начинают выступать «против». Это норма внутрипартийной борьбы любого парламента мира. И я попадаю в ситуацию политической борьбы и политического торга.

Мы начали действовать пошагово. Сначала собрали документы и отдали их в топонимическую комиссию. Но дело в том, что, когда маму выгоняли из университета, а потом аре-

ставывали, это было настолько резонансное дело в Смоленске, что, несмотря на прошедшие с тех пор 30 лет, старшее поколение до сих пор хорошо помнит эту историю и относится к ней достаточно напряжённо. Многие, на мой взгляд, не хотели бы, чтобы им напоминали об этом. Было понятно, что так или иначе этот вопрос коснётся губернатора. И я пошёл к нему. Алексей Островский стал губернатором в апреле 2012 года, он только-только принял дела и входил в курс дела: знакомился с людьми, менял кадровый состав. Я прихожу к нему на приём и начинаю рассказывать про маму, про то, что я здесь двадцать лет прожил, подарил ему маминны лагерные мемуары. Мы с ним разговаривали минут сорок, и он сказал, что в целом поддерживает эту идею. Для нас это была первая серьёзная победа, потому что помимо поддержки Патриарха мы заручились поддержкой губернатора Смоленской области. Но губернатор ничего не решает. Решает горсовет. А добрая часть горсовета находится если не в оппозиции к губернатору, то во всяком случае не зависит от него. Это также обычная ситуация для любого города.

– И как же Вам всё-таки удалось повесить эту доску?

– Сначала у нас многое не получалось. Не могли то с одними договориться, то с другими... Кто-то сразу поддержал, кто-то говорил со мной неохотно, уклоняясь от ответов. В итоге мы не успели на сессию горсовета, которая должна была состояться в конце мая. Наш вопрос не был включён в повестку дня и, следовательно, к приезду Патриарха, который собирался посетить Смоленск 24 июня, мы не успевали повесить доску. А следующий горсовет должен был состояться после отъезда Патриарха, 30 июня. Я вернулся в Москву опечаленный; мы долго говорили о том, что это тупиковая ситуация, что повесить доску будет чрезвычайно сложно. И тогда я сказал, что на всё воля Божья. Будет воля Божья – повесим, хотя не понимал как, а не будет – не повесим. И тогда мой сын Василий успокоил меня, сказав: «Папа, не волнуйся, не повесишь ты, повешу я, пусть даже через двадцать лет». И я как-то успокоился. Доска к тому моменту была отлита и лежала в мастерской у скульптора. Но однажды моя жена Люба шла по улице, задумалась и начала молиться о том, чтобы Господь подсказал, что делать. Пришла домой, подошла ко мне и неожиданно сказала: «Езжай в Смоленск, попытайся снова». Я купил билет и перед отъездом позвонил отцу Андрею Милкину, начальнику патриаршего протокола. Это было где-то 16–17 июня. Спрашиваю: «Ну что там, как Святейший? Едет ли на следующей неделе в Смоленск?» На что отец Андрей мне отвечает, что Патриарх поедет в Катынь только 14–15 июля. И получилось, что из-за переноса визита я успеваю вынести свой вопрос на последнюю перед отпуском городскую сессию. Мы как сумасшедшие кинулись туда и непрерывно начали работать с депутатами. В итоге мы успели и собрать все документы, и представить их комиссии по социальным вопросам. Кстати, это была уникальная комиссия. На ней было всего шесть человек. Я там присутствовал. Пришёл также отец Серафим Амельченков, секретарь епархиального управления Смоленской епархии, поддержать меня, за что я ему очень благодарен, и пришла начальник управления культуры города Смоленска Екатерина Сергеева, которая тоже нам помогала. Очень умная и красивая женщина. По ситуации я понял, что все члены социальной комиссии принадлежат к разным политическим фракциям. Но дальше произошла фантастическая ситуация: каждый из них начал отстаивать эту доску перед другими. Был даже один иудей, который очень настойчиво начал доказывать необходимость установки этой доски в Смоленске. В результате все проголосовали «за» единогласно. Это было маленькое чудо, потому что я ожидал, что депутаты поссорятся между собой. Я много лет работаю с депутатами разных уровней и прекрасно знаю, насколько всё это непросто. В итоге вопрос об установке мемориальной доски Т. Н. Щипковой был вынесен на заседание Смоленского городского совета, и все депутаты также единогласно проголосовали «за». Нам разрешили повесить доску на здании Смоленского университета.

– Что для Вас было самым сложным в этот период?

– Самой сложной составляющей был всё-таки университет. Потому что там до сих пор работают люди, которые помнят эту историю и отчасти причастны к ней. Это самый сложный и самый тонкий момент. Одна смоленская журналистка как-то брала у меня интервью для короткого телерепортажа и спросила после записи, кто из преподавателей донёс на маму, в результате чего её выгнали, а потом посадили в тюрьму. Я ей долго объяснял, что никто не доносил. Не было в университете, тогда в пединституте, ситуации, чтобы кто-нибудь, зная о религиозных убеждениях мамы, написал на неё донос в КГБ или ещё куда-то. Наоборот, некоторые её коллеги-преподаватели прекрасно знали о её взглядах. Они их не разделяли, они не были религиозными людьми, но все они относились к этому с уважением и пониманием, считая, что это её право. И никогда на неё ничего не писали, никто ничего не доносил.

– Но если не преподаватели из университета, то кто и откуда узнал о религиозных взглядах Татьяны Николаевны?

– О ней стало известно не столько в Смоленске, сколько в Москве. У нашей семьи были очень большие контакты в разных городах. Когда мы пришли в церковь, мы начали общаться с огромным количеством людей по всей стране. У нас был свой круг общения, мы собирались вместе, молились, делали свой самиздатовский журнал, купили в тверской области дом, который стал местом, где мы собирались. В общем, мы были довольно активны и не могли не привлечь к себе внимания.

Когда мы в Смоленске напечатали наш самиздатовский журнал, к нам пришли с обыском, арестовали журнал, и мы поняли, что наша спокойная жизнь закончилась. Мы потеряли учебу, работу. Это был май-июнь 1978 года. Мы с женой учились на четвёртом курсе французского отделения, а мама там преподавала. У нас был первый ребёнок, которому не было и года. Потом сверху пришло жёсткое указание маму уволить и лишить учёной степени. Естественно, партийные организации, госбезопасность начали выкручивать руки руководству вуза, а руководство вуза – преподавателям, заставляя их голосовать. Сначала за увольнение с работы, а затем – за лишение учёной степени.

– И как же поступили преподаватели университета?

– В университете против мамы проголосовали все. Не было ни одного человека, который бы поднял руку «против» или воздержался. Если бы кто-нибудь поступил иначе, его бы уволили. Уволили бы всех несогласных, убрали бы ректора, проректора, если бы надо было, заменили бы полностью преподавательский состав. Мы прекрасно это понимали и никогда не осуждали их. Но они стали осуждать нас, потому что именно мы поставили их в сложную ситуацию. И мы много лет пытались понять, есть ли на нас вина. Может быть, надо было сидеть тихо и не высываться? А с другой стороны, почему не высываться? Так и сидеть под ярмом? Некто будет нам диктовать, как жить, что можно, что нельзя, запрещать ходить в церковь, запрещать крестить детей, а мы должны мирно это терпеть? Так ведь тоже нельзя. Хотя мы вовсе не призывали к смене власти или чему-то подобному. Мы не были антисоветчиками. Нас интересовали только церковные, религиозные вопросы.

– А были ли те, кто отказался участвовать в этом показательном процессе, пошёл на риск?

– Было совсем немного тех, кто не участвовал во всём этом. Например, мамина подруга, преподаватель математики Ирина Николаевна Демидова. Она сейчас очень старенькая и живёт

в Петербурге со своей дочерью. Поскольку она была очень близкой подругой и очень часто бывала у нас дома, её вызвали в госбезопасность и спросили, почему она, уважаемый человек, преподаватель, не сообщила раньше, что видела у нас в доме иконы и что мы религиозная семья. На это Ирина Николаевна ответила, что не считала нужным об этом сообщать, это было наше право, и что мы не делали ничего плохого. В результате её выгнали с работы. Она была единственным человеком, который, хоть и не вставал на защиту, не бунтовал, не призывал оставить маму на работе, но просто сказал, что считает неправильным то, как поступили с мамой. За это она поплатилась работой. Так же как и мой друг, Игорь Маллер, мой крестник. Сейчас он служит протодиаконом в Смоленском Успенском Соборе, а тогда его за неделю до госэкзаменов пригласили в КГБ и предложили написать на меня какое-то заявление. Ему сказали – или пишешь, или прощаешься с дипломом. Он не написал, и его выгнали из института. Но таких людей были единицы.

А одна преподавательница пришла к нам домой поздно-поздно ночью, чтобы её никто не видел, потому что маму уже выгнали из университета. Пришла и попросила у неё прощения. Она проголосовала «против», но извинилась перед мамой, сказала, что её мучит совесть, но она не могла поступить иначе. Таких было также мало – она и ещё два преподавателя. Но это было для нас чрезвычайно важно. Потому что вопросы нравственного выбора в каком-то смысле намного важнее и интереснее, чем любая политическая проблема.

– А сегодня, спустя тридцать лет, вы нашли ответ на вопрос – была ли на вас вина за всё произошедшее?

– Это проблема, которую мы в семье обсуждали в течение многих лет, если не сказать десятилетий. С одной стороны, мы имели полное право поступать так, как мы поступили, – исповедовать свою веру открыто. Мы практически не скрывали своих убеждений, просто в Смоленске об этом узнали в последний момент, а в Москве, Ленинграде мы собирались, молились, могли, например, в кафе на Ленинградском вокзале громко петь «Отче наш» (в 1973 году) – молодые были, не без эпатажа. Но мы не скрывались, мы не жили подпольной жизнью, мы считали, что по Конституции имеем право на свободу совести и это наше право – жить, молиться, воспитывать наших детей так, как мы хотим. Мы стали жить так по факту. Но при этом мы действительно поставили людей в очень сложную ситуацию. И спустя много лет, мы стали задумываться о том, имели ли мы право так поступать. Ведь тогда мы думали о себе, о своих интересах, о своих правах. Мы не специально поставили людей перед выбором – мы были довольно наивны, и нам, честно говоря, в голову не приходило, что такое может случиться. И конечно, то, что произошло, стало очень сильным ударом. Мы даже не поняли толком, что случилось. Жизнь стала другой, она изменилась в один день. Разумеется, мы многих поставили в чрезвычайно сложную ситуацию, ситуацию выбора – голосовать или не голосовать, рисковать своим благополучием или нет. Ведь в то время встать на нашу защиту – значило потерять всё.

Вернувшись в Смоленск с бронзовым портретом спустя три десятилетия, мы это всё снова всколыхнули внутри университета. Мы сами сомневались, молились, но поняли, что доску всё-таки должны повесить. Я долго разговаривал на этот счёт с ректором университета Евгением Кодиным, он был не против, но сказал, что «должен решать коллектив». Это был сложный период и самые сложные переговоры, детали которых не следует выносить на публику. Но в конце концов ректорат принял положительное решение и выдал его нам на руки.

Лет за десять до того, как маму лишили учёной степени кандидата филологических наук и уволили «вследствие недостаточной квалификации», в нашем институте произошла очень похожая история. Преподаватель той же французской кафедры, еврей – помню только его фамилию – Масис – подал документы на выезд в Израиль. За это его точно так же предали

остракизму, уволили и устроили общее собрание, на котором приказали голосовать за лишение учёной степени. Единственным человеком, который тогда проголосовал «против», была моя мама – Татьяна Щипкова. Не понимаю, почему её не уволили уже тогда за «пособничество сионизму». Наказание было «мягким» – всего лишь лишили очереди на квартиру (мы жили в общежитии).

– А как Татьяна Николаевна пришла к вере и религии?

– Мама была внучкой священника, он умер до её рождения. А поскольку её мать погибла в блокаду, её воспитывала бабушка-попадья. Мама, конечно, была человеком неверующим, комсомолкой, училась в университете. Но они жили с бабушкой в одной комнате; там всегда были иконы, всегда было Евангелие. Мама в церковь не ходила, но ходила бабушка, и бабушка за неё всегда молилась. Мама не была атеисткой – была просто неверующим человеком. При этом она была человеком культуры. Она всегда много читала, в том числе Евангелие, потому что каждый культурный человек должен знать Евангелие. Спустя какое-то время, когда мама стала заниматься лингвистикой и училась в аспирантуре, она начала изучать историю старорумынского и старофранцузского языков. Среди текстов, с которыми она работала, были Псалтирь и Деяния Апостолов. И она их читала по-французски, по-старофранцузски, по-румынски, по-старорумынски, по-русски. Ей надо было их сравнивать и изучать. Я думаю, что эти тексты не могли не повлиять на её образ мыслей. Она была лингвистом и не просто читала тексты – она погружалась буквально в каждую фразу, в каждое слово. Как грамматисту ей важно было именно построение фраз. Если объяснять по-простому, то она изучала систему управления в предложении одних слов другими. Такое углублённое погружение в священные тексты не может не дать результата. Я думаю, именно так мама и пришла к вере. В какой-то момент она просто почувствовала себя верующей.

– Что значит почувствовать себя верующим человеком?

– Просто однажды, в какой-то случайный день ты вдруг осознаёшь, что Бог есть. Понимаешь это как-то изнутри и от этого уже невозможно отказаться. А второй момент – когда чувствуешь, что у тебя с Ним есть какие-то взаимоотношения, какой-то контакт, пусть даже слабый. Это может быть и зачаточная молитва, когда ещё не умеешь молиться и плохо понимаешь, что это такое, но уже молишься, у тебя есть это ощущение эйфории, не взрывной, эмоциональной, а другой – мягкой, тёплой. Мне кажется, что у мамы было именно так – медленное количественное накопление, которое потом переросло в качественное и стало абсолютно естественным. Свою роль сыграла и классическая европейская литература, основанная на христианской морали.

– Наверное, вашей маме было очень трудно тогда жить?

– В каком-то смысле, да, в плане неустроенности маме было очень трудно жить. Но в каком-то смысле – очень легко. Она была человеком культуры, и этот мир культуры был абсолютно естественным для неё. Поэтому когда она жила в Смоленске в нищете, это её никак не задевало. У неё были дорогие книги, дорогие альбомы с дореволюционной калкой, которые она покупала. Вот где было настоящее богатство, в мире искусства. Конечно, в Ленинграде она всегда ходила в филармонию и брала с собой меня. И я навсегда запомнил этот скрипящий пол ленинградской филармонии. Или когда Рихтер приезжал в Смоленск и играл в полупустом зале, мама обязательно ходила на эти концерты. Как у каждого советского музыканта, у Рихтера были обязательные гастролы по городам Союза. В Смоленске филармонии не было,

а зал с хорошей акустикой был в мединституте, на кафедре стоматологии, где до революции располагалось дворянское собрание. Там Рихтер и играл. В зале, рассчитанном на триста человек, сидело пятьдесят человек. Мы также ходили на молодого Николая Петрова, царствие ему небесное, когда он ещё не был известным и часто приезжал в Смоленск. Она любила мир музыки.

– Как она тогда пережила все эти гонения и лагерные сроки?

– Маму осудили по статье 206.2 – это уголовная статья за злостное хулиганство. Когда мама находилась в Москве с друзьями (я в это время служил в армии, потому что меня выгнали из института), к ней пришли с обыском и проверкой документов. У мамы в руках была записная книжка, и дружинник попытался отнять у неё эту книжку. Мама, естественно, не давала. И тогда мужчина заломил ей руку и отобрал книжку. Мама в ответ дала дружиннику пощёчину, хотя и пощёчиной-то это трудно назвать. Она была очень маленького роста, а он высокий. И она махнула рукой и задела его по подбородку, чисто инстинктивно, по-женски. Маме было 50 лет, а ему – не больше 23. На суде он выступал как потерпевший. Мне рассказывали, что на суде он сгорал от стыда, потому что ему читали хвалебные характеристики – комсомолец, общественник, дружинник, мастер спорта по боксу. И в суде даже не понимали этой несуразницы, не понимали, что мама, метр сорок шесть ростом, с сильнейшей глаукомой, никак не могла избить мастера спорта по боксу. Они даже не смогли придумать что-либо более правдоподобное, что ещё раз подтверждало, что обвинение и дело были абсолютно липовыми.

– Сколько лет Татьяна Николаевна провела в лагерях и смогла ли она потом вернуться к преподавательской деятельности?

– Мама провела в тюрьме три года. Потом мы уехали в Ленинград, жили в коммуналке. Но маме не разрешили там сделать прописку. Дважды её арестовывали, увозили на ночь с предписанием в течение 24 часов покинуть город. Мы стали её прятать. Сначала у родственников. Когда поняли, что можем подставить их, прятали по знакомым. Потом и знакомые стали испытывать затруднения. Было страшно. Помогли псковские бабушки, прописали её в деревне, сумели сделать паспорт, без которого она прожила почти год. Постепенно ей всё-таки разрешили жить в Ленинграде, и она уже жила с нами, работала сторожем-вахтером. А начиная с 1991–1992 годов стала работать учительницей французского языка в гуманитарных классах при только что открытом Богословском Институте. Потом мы переехали в Москву, забрали маму с собой. До 77 лет она преподавала, написала лагерные воспоминания, написала четырёхтомный учебник французского языка (так и не изданный до сих пор). Мама перевела роман французского писателя Леона Блуа «La Femme Pauvre» – «Бедная женщина». Этот сложный роман о трагической судьбе одинокой женщины наполнен глубоким христианским содержанием. Перевод лежит у меня дома, ждёт своего издателя.

– Помимо того, что эта мемориальная доска посвящена Вашей маме, каково ещё её значение сегодня?

– У нас в России до сих пор не было ни одного мемориального знака, посвящённого гонимым православным. Есть памятники жертвам репрессий, и их довольно много. Есть памятники жертвам Холокоста. На Кавказе есть памятники и знаки погибшим или пострадавшим в советское время. Ведь мусульман преследовали не меньше. А православным – нигде ничего не было. Ну, если только в сонме жертв политических репрессий. Поэтому мы настаивали том, чтобы на доске была приведена эта надпись: «пострадавшая за православную веру в годы гонений». Мы не хотели ничего выпячивать – мол, мы православные, мы лучшие, мы пострадали. А лишь хотели подчеркнуть, что мы тоже были, тоже страдали. И мне кажется, эту мысль

хорошо почувствовал и понял Патриарх Кирилл. Выступая на открытии нашей мемориальной доски, он сказал, что хотел бы видеть подобные памятные доски и знаки повсюду, потому что они будут нам всем напоминать о людях, которые за веру, за внутреннюю свободу готовы были платить ценой личных невзгод. Памятники, мемориальные доски – это визуальное искусство, которое окружает человека, формирует его мир, его нравственность, мировоззрение. Скульптура создаёт необходимую атмосферу, которая в итоге облагораживает людей. И мы, православные, верующие, носители христианских ценностей, должны формировать это пространство в своей стране. В том числе ставя памятники тем, кто создавал нашу страну, защищал её и страдал за неё. Сохранить память о тех сложных годах, о смелых людях, о гонениях и вере, которая, не смотря ни на что, была сохранена, – это и есть наш долг.

## Пришедший из девяностых

23 февраля 2014 года

Информационное агентство «Росбалт»

Беседовал политолог Сергей Шелин

Сегодня Александр Щипков – яркий общественный деятель, учёный и публицист. Но его дорога к этому не была обычной. Придя к вере подростком, Александр Щипков полтора десятка лет вёл жизнь отторгаемого советской системой православного активиста. Его мать Татьяна Щипкова, преподаватель смоленского вуза, отбыла срок за организацию подпольного религиозного семинара. Сам он сделал классическую «карьеру» человека из ленинградского андеграунда: был грузчиком и кочегаром. Смена политического режима позволила Щипкову покинуть подполье. С начала и до конца 1990-х он работал «год за два, занимаясь и научными исследованиями, и практической журналистикой, и борьбой за возвращение храмов». Но в августовские дни 91-го в борьбе с путчистами участвовать не захотел, хотя и понимал, как много благ ему принесёт победа Ельцина.

– Ну и как встретили путч, Александр Владимирович?

– 19 августа 1991 года я находился в Москве. Звоню Глебу Якунину. «Отец Глеб, что происходит?» – «Саша, не до разговоров, бросай всё, езжай в Белый дом». Приехал к Белому дому. Раннее утро. Суета. Вошёл. Вышел. Опять зашёл, снова вышел. Искал знакомых. Не нашёл. И тут вход перекрыли. Вот ведь как интересно бывает в жизни. Если бы я случайно остался с той стороны двери, то, наверное, моя жизнь сложилась бы по-другому. Потому что я стал бы смотреть на этот мир из окна Белого дома. А так мне крупно повезло. Я остался всё-таки с моим народом – «там, где мой народ, к несчастью, был».

И все эти три дня я находился в состоянии очарованного странника. Понимал, что происходят тектонические события. А вместить их в своё сознание не мог. Было ощущение того, что мне не хочется в этом участвовать, нет желания быть охотником и добывать этого огромного раненого зверя – при том, что лично я как «деклассированный элемент» кроме благ ничего от победы Ельцина не получал. Ведь моя самая первая мысль 19-го августа, когда меня разбудили и сказали о перевороте, была такой: «О Господи, опять в кочегарку!...»

– Вы не могли присоединиться к людям, которые защищали ваше дело?

– Нет, это не было моим делом. Я им не верил. Ну, коммунисты. Ну, перекрасились. Потому что коммунисты всегда врал. Потому что коммунисты нас, православных, преследовали. И верить коммунистам...

– ...Но Путина вы же верите? Тоже был коммунистом. Ещё и сотрудником органов, если вас это дополнительно к нему располагает.

– Вы пытаетесь наложить политическую ситуацию 2014 года на те дни. Но тут не может быть прямой корреляции. На нынешнее состояние России я смотрю иначе. И страна другая, и я – другой. А тогда рассуждал так: не мое. Я-то из диссидентов. Из андеграунда. Быть властью считалось неприличным.

– Когда вы преодолели синдром человека из андеграунда?

– В начале 90-х мне предлагали заняться политикой, пойти на выборы, и с моей «анти-советской» биографией я бы в те годы их легко выиграл, но я отказался. Побрезговал. Сейчас бы поступил по-другому. Если не сделаешь сам, за тебя решат другие. И я продолжал работать в кочегарке еще в 1992 году. Мой сменщик Митя Шагин (художник, основатель группы «Митьки» – *примечание редактора*) и многие мои друзья-кочегары вышли из подполья гораздо раньше. Психологически после 15-ти лет работы по «рабочей сетке» самым сложным для меня было сказать себе: «я больше не кочегар», – и рискнуть начать жизнь сначала в 35 лет. В середине 90-х я пришёл в газету «Смена» религиозным обозревателем.

– Трудно вам там приходилось?

– Я немного стеснялся раскованной молодёжи, но меня даже не спросили, почему у меня нет диплома о высшем образовании. В светской газете я создал целую полосу на религиозно-политическую тему. Это был прорыв в религиозной журналистике.

– То есть светская и, насколько помню, либеральная газета, увидев, что вы предлагаете интересные материалы, охотно их ставила. Вам ничто не мешало делать своё дело. Неужели вас отталкивал тогдашний дух свободы?

– Нелиберальных газет тогда не было. Да и сегодня их не больше, чем пальцев на одной руке. Я рассуждал прагматично: если эта свобода ненадолго, то мне нужно успеть сделать как можно больше. Я уже прожил первую половину жизни, у меня было мало времени, и я работал год за два. Я занимался и научными исследованиями, и практической журналистикой, и борьбой за возвращение храмов. Господь пошёл мне навстречу. Мне комфортно было в «Смене», а потом ещё комфортнее на Петербургском радио и на «Радио России».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.